

Петр Немировский

МАРИЯ ПУСТЫННАЯ, ИЛИ ИСТОРИЯ ОДНОГО ЛЬВА

Глава 1

Гурий любил львов. Ребенком он не играл с другими мягкими игрушками – ни с мишками, ни с зайцами. Не просил родителей купить ему какую-нибудь живую зверушку – ни собаку, ни хомяка. Только льва.

Его детская комната напоминала львиный питомник. Плюшевые, пластмассовые львы различных размеров валялись на столе и под кроватью. А на подушке лежал самый любимый – большой, с мягким туловищем, светло-орехового цвета, темно-желтой гривой и красным носом. Лев этот имел замечательное имя – Лев. Верный и умный, он смотрел на Гурия черными преданными глазами, вселяя в сердце ребенка чувство уверенности в себе. Поэтому Гурий никогда не боялся оставаться в комнате один, даже когда мама закрывала книгу, заложив ее красной ленточкой, выключала свет и уходила, оставляя дверь не до конца закрытой.

В щель из коридора в детскую проникала полоска света, сливаясь со светом луны, льющим в окно. Этот свет охватывал всю комнату и все в ней: часы на стене, письменный стол с красками и бумагой, Гурия, гладившего по жесткой гриве верного Льва.

По национальности Гурий был греком. Обрусевший грек, родившийся и выросший в Одессе. Его дед Ионос был священником, настоятелем греческого прихода в Одессе.

Как известно, греки на территории Одессы обитали еще со времен Византии. Но особенно активно стали заселять этот город в XIX веке, когда Одесса получила статус «порто-франко» и была объявлена зоной беспошлинной торговли. Жестокие притеснения со стороны Турции тоже были причиной переселения греков в Россию.

Во время сталинизма были разрушены многие и закрыты все православные греческие церкви в Одессе. Сталин греков не любил, занес их «в черные списки неблагонадежных инородцев», преследовал, ссылал, уничтожал в тюрьмах. После войны, хоть и случилось некоторое послабление властей к русской православной церкви, греческая по-прежнему оставалась в опале, долгое время пребывая в положении катакомбной.

Дед Гурия, исповедник веры, нес в полной мере свой крест. Еще до войны, как священник, он был арестован, осужден и сослан. Выжил. Вернувшись из ссылки, работал сторожем на складе, чтобы избежать нового ареста и

тюрьмы за «тунеядство». Но не сдался: организовал церковный приход и проводил тайные службы в катакомбах за городом и на дому. Он похоронен на Таировском кладбище в Одессе. Под черным гранитным памятником в виде церкви, увенчанным крестом. Гурий родился через пять лет после смерти деда.

Ребенка назвали таким, достаточно редким, именем в честь святого мученика Гурия: в эпоху становления христианства за исповедование веры святой Гурий был зверски замучен и обезглавлен в одном из городов Римской империи – Едессе. Дед Гурия особо чтит этого святого и на смертном одре просил дочь, если у нее родится сын, назвать его этим именем. Что она и исполнила.

* * *

Откуда же взялась у ребенка такая любовь ко львам? Скорее всего, из «Луга Духовного» – одного из самых древних письменных памятников христианства, где собраны короткие истории-жития аскетов, населявших всю необъятную территорию христианского Востока Римской империи, особенно пустыни Египта и Палестины.

Эту книгу, где на обложке был изображен вид из пещеры на бескрайнюю цветущую пустыню, ему читала мама. Наверное, читала не все подряд, а выбирала отдельные истории, потому что почти в каждой рассказывалось не только о суровых подвижниках, но и о зверях – мулах, собаках, верблюдах. Но больше всего – о львах.

Львы пустыни – самые простые, но вместе с тем и самые загадочные существа. Их боялись путешественники и крестьяне. Но их не боялись аскеты. Впрочем, в отношениях аскетов со львами речь шла вовсе не о страхе, а о чем-то более значимом. Скажем, о пользе, о долге, о верности. О любви. Львы служили пустынным монахам как обычные вьючные животные, так же как мулы или ослы: таскали кадки с водой или корзины с овощами. Верные стражи, львы охраняли монахов от разбойников, стерегли огороды. Они совершали и свой подвиг аскетизма – не ели мяса, питались только овощами. Львы плакали, как дети, когда им в лапы попадали занозы или когда у них воспалялись глаза. Жалобно скуля, приползали к монахам, чтобы те их лечили.

Случалось, конечно, что львы «срывались» – впадали в грех, проявляя свою звериную сущность, все-таки хищники: разрывали ослов, которых, по идее, должны были охранять; не довольствуясь бобами, приходили к аскетам с окровавленными мордами, у каждого брюхо набито свежим мясом только что сожранной птицы или верблюда. И аскеты, разгневавшись, били

провинившихся львов бичами и прогоняли их. Обращались с ними не как с опасными хищниками, а как с дворовыми собаками. Гурий иногда тоже хлестал веревочкой своего мягкого Льва за то, что тот «согрешил».

Гурий плакал, слушая о том, как лев проникался к подвижнику такой страшной, холодящей душу любовью, что не мог пережить его смерть. И когда аскета хоронили в пустыне, где-нибудь возле лавры или пещер, преданный лев находил ту могилу и ложился рядом, чтобы тоже умереть.

Таковы львы.

Может ли с таким львом сравниться хомячок или канарейка? Нет, конечно.

Лев смиренно лежал возле подушки, ожидая, когда Гурий вернется из садика, а потом, с годами, – из школы. За столько лет он уже утратил навыки, набивка вылезала наружу, в гриве зияли проплешины, особенно после того, как мама несколько раз подвергла его стирке.

Но он по-прежнему все понимал. Со Львом можно было поделиться самым сокровенным: пожаловаться на учительницу за поставленную двойку, на соседку бабу Феню и ее веник, на родителей, которые опять поссорились и не разговаривают друг с другом...

Когда Лев уже покинул тот дом навеки, очутившись в одном из мусорных баков по причине абсолютной дряблости (плюшевые львы долго не живут), Гурий совершенно случайно наткнулся в одной книге на происхождение своего имени: Гур – на древнееврейском означает львенок, молодой лев.

Узнав это, Гурий едва не зарычал. Его сердца тогда коснулся какой-то доселе неведомый холодок от ощущения Божьего Провидения, в котором не бывает случайности и все уже каким-то тайным образом predetermined.

Глава 2

Его мама, хоть и была дочерью столь мужественного отца, все же к церкви относилась сдержанно. Хорошо знала по отцовскому опыту, какие страдания несет церковная жизнь. Не хотела такой же участи сыну. Она, конечно, чтит большие церковные праздники, попыталась обучить Гурия греческому языку. Но, видя, с какой неохотой он отзывается на ее предложения приобщить его к семейным ценностям и вообще старается избежать лишних нагрузок, перестала настаивать. Тем более, что с мужем у нее тогда были частые раздоры, в том числе, и из-за ее вялых попыток сделать сына «православным греком».

Гурий был художником по образованию и призванию. Окончил художественный институт, твердо решив посвятить себя живописи. Медленно восходил по ступенькам, пусть не славы, так мастерства.

Снимал небольшую студию. Студия выходила окнами на море. Оттуда Гурий наблюдал закаты. В конце лета закаты в Одессе поражают насыщенной синевой, разлитой повсюду. А зимой небо и море поглощаются каким-то свинцовым сомнительным светом...

Когда он писал новую картину, то «уходил в затвор». Его смуглые щеки быстро покрывались густой щетиной, пряди черных волос беспорядочно спадали на плечи. Каждое движение его длинных, жилистых рук, каждый жест были внутренне свободны, но и предельно точны. Весь измазанный красками, с пересохшей кожей на ладонях от ацетоновой смывки, в дырявых спортивных штанах, внешне – почти бомж, он ощущал в себе такую внутреннюю энергию, какую ощущает только художник во время работы!

У него была натурщица – Ирен. Она недавно окончила институт с дипломом социолога и работала в центре по изучению маркетинга. Ее действительно звали Ирен, а не Ирина. Она уверяла, что, помимо русских и украинцев, в ее роду итальянцы и французы. Ну и, само собой, евреи. Словом, по национальности Ирен была одесситкой.

Она была исполнена удивительной пластичности. Не гимнастической или танцевальной, что достигается упорными упражнениями, а пластичности аристократической, врожденной, доставшейся ей по наследству, не исключено, что от итальянских синьорин. Особую прелесть придавали ее лицу карие глаза с широким разрезом и большие веки с нежным розоватым оттенком, которые она умела так томно опускать.

Она обладала, как говорится, шармом и манерами. Правда, в ее натуре сказывалась практическая хватка, которая еще не успела развиться и перерасти в холодный прагматизм. Ирен не были присущи «ураганные страсти», которые так привлекали ее в Гурии. Ее самолюбию льстило, что имя ее любовника становится известным, что его картины выставляются, несколько их проданы за границу.

Лучшей натурщицы нельзя было и желать. Застыв, она терпеливо лежала, голая, на полу, застеленном одним брезентом, или, заложив руки за спину, до онемения мышц стояла у пустой стены.

Она приносила в студию еду для своего «затворника Эль Греко», как она его называла. Жалела его, когда, сидя у ее ног и положив голову на ее колени, Гурий страдальчески смотрел на заляпанный красками неудавшийся рисунок. В его картинах, в лучших из них, было видно несомненное дарование. Дарование многообещающее, но полностью еще не раскрывшееся.

У Гурия был сложный характер: в его душе соединялись крайности. При всей своей устремленности ввысь, он мог быть и очень черствым; отрешенность от житейской суеты сочеталась с непомерной гордыней; он хорошо владел техникой рисования, но его пожирало тщеславие. Словом, это был один из

тех талантов, которые могут развернуться во всей своей полноте, но чаще по разным причинам впустую растрачивают то, что имели.

В его дар верила мама, отдавая сыну все сэкономленные деньги из своей зарплаты библиотекаря. Отец, уйдя из семьи, с Гурием все же иногда встречался и тоже подбрасывал ему денег. Человек далекий от искусства, он не понимал, чего ради сын мытарствует, когда открыто столько возможностей для бизнеса. Отец владел фирмой по продаже средств бытовой химии.

Друзья по художественному «цеху» потихоньку расставались с искусством, уходили в коммерцию, а Гурий, упрямец, все колдовал над холстом в своей студии, на съем которой едва хватало денег. Галерейщики за картины платили сущие гроши.

И вот, словно с зимнего моря, в его студию стали накатывать волны меланхолии. Чаще, чем прежде, Гурий возмущался тем, что имена бездарей с кисточками, но при деньгах и со связями, у всех на слуху. Его начали охватывать сомнения в силе своего таланта.

Потом от него ушла Ирен, ушла к одному успешному банкиру. Э-эх...

И с ее уходом в Гурии что-то окончательно надломилось. Его студию стали посещать бесы. Бесы на весь день затягивали окна шторами, опрокидывали банки со смывкой, ломали невымытые кисти и плохо заточенные карандаши. Бесы тянули Гурия в пивбары и кабаки, в тусовки. Стали приносить водку.

Однажды бесы привели Никиту. Никита когда-то учился вместе с Гурием на факультете прикладного искусства, но бросил на третьем курсе и толком никем не стал. У Никиты был странный голос – когда-то звонкий, но с годами сильно прокуренный. Теперь он в основном хрипел, но сквозь хрипотцу иногда прорывалось тоненькое козлиное блеянье. Голова Никиты всегда была гладко, до блеска, выбрита.

Никита принес – «для натюрморта» – маковые головки и шприц.

И стал Гурий бандитом.

Глава 3

В бандитском мире у него была кличка Грек.

Он просиживал ночи в кабаках, гудел с братвой на дачах, на кораблях. Снимал роскошную квартиру на Приморском бульваре. Деньги тратил безумно, с такой же легкостью, как и добывал их. Его темно-карие, когда-то красивые глаза теперь были постоянно мутны от наркотиков.

Ничего не осталось и в помине от прежнего Гурия. Для ресторанов он одевался с шиком. А когда «зависал» на наркотиках, то становился похожим

на бездомного, вдобавок его отравленное опиумом тело источало резкий неприятный запах.

Он грабил магазины, обкладывал данью бизнесменов. Знаменитый «Привоз» контролировала тогда грузинская мафия, но «Южный» базар отбила банда, в которой состоял Гурий. Со временем, однако, он переключился исключительно на искусство..

Пожалуй, никогда прежде в Одессе не было такого бича для художников и галерейщиков. Всю ненависть за свое малодушие, за свою измену, за слабость и трусость перед испытаниями Гурий обрушил на собратьев-художников, галерейщиков, арт-дилеров, даже на владельцев багетных мастерских, – словом, всех тех, кто каким-то образом был связан с живописью. Он знал, где, в какой галерее продаются хорошие картины, у какого художника покупают работы, в какой мастерской изготавливают качественные изящные рамы.

Катился Гурий по самой крутой наклонной, круче не бывает. Были и аресты, и взятки следователям, и передозы от маковых головок. Были и скандалы с матерью, и «скорые помощи», и больницы.

Хоронил друзей. Того застрелили, того, пьяного, сбила машина. На Таировском кладбище, на могилах, пили, поминая погибших, клали цветочки: «Спи, брат-Князь, земля тебе пухом... Спи, брат-Чиж...»

Случалось, правда, крайне редко, что Гурий задумывался: а, может, и ему было бы лучше с ними там, в земле?..

Кстати, неподалеку от этих могил, на греческом участке, – черный гранитный камень в форме церкви под крестом. Дед... дед... Исповедник веры Христовой. Тайные службы в катакомбах, как во времена гонений на первых христиан.

В детстве Гурий любил представлять, как где-то за городом в каменоломни спускается горстка людей. Там, под землей, в слабом свете фонариков и свечей, бородастый дедушка Инос облачается в ризы. Затем ставит на подставку иконы, освящает кадильницу...

А потом дед – в черной робе зэка и шапке-ушанке. Валит лес на Воркуте. И в ссылке, в Ижевске. И снова – в Одессе, с больными почками и слабым сердцем, после туберкулеза. И опять – катакомбы, и служение Христу. Он дожил до тех дней, когда в Одессе наконец открылось Греческое подворье при Свято-Троицкой церкви. Успел там послужить. Там его и отпевали...

Вот бы сейчас стряхнуть Гурию все, как дурной сон, и пойти туда, к черному гранитному камню под крестом. Постоять там на коленях, поплакать.

Но не ходил туда Гурий. Не мог. А стоял у свеженасыпанных холмиков земли на могилах братков. И только косился порой в ту сторону, где была могила дедушки Иноса.

Глава 4

Как-то раз он отправился в Египет, на берег Красного моря, на курорт в Шарм-эль-Шейх. Валялся там на пляже, летал над морем на дельтаплане, курил гашиш через кальян.

А на третий день какая-то сила потянула Гурия, позвала. Покинув отель, один пошел туда, где в вечеряющем чернильном воздухе еще были хорошо видны очертания гор пустыни.

Удивительные горы – меняющие цвет в гранях, от красно-бурого до дымчато-серого. Днем, в знойной дымке над затвердевшим песком, эти горы кажутся надвигающимся миражом, а вечером, в быстро сгущающихся сумерках, они как бы оседают, обступив берег неприступными громадами. И жутко от их немоты и тысячелетнего безразличия к человеку...

Чего Гурий искал там? Что хотел найти в той холодной безмолвной пустыне? Ползал Гурий по тем горам, взбираясь на крутые склоны. Толстый слой тысячелетней грязи трескался, разламывался под его сандалиями. Острые камни царапали ладони. Он падал, скатывался вниз, в какие-то ямы, провалы между гор, вершины которых касались небес, усыпанных яркими звездами. Прислонившись спиной к еще теплой скале, закурив сигарету, весь измазанный грязью и песком, смотрел Гурий на эти горы в слабеньком дрожащем темно-лиловом свете и чувствовал сердцем эту картину ночной пустыни – лучшую во Вселенной, которая доселе никем не была и никогда не будет написана, потому что Бог эту картину создал только для созерцания... И от неслыханного счастья и радости, переполнявших его сердце, от осознания того, что на земле есть такая Божья красота, Гурий вдруг начал плакать...

* * *

Из этой поездки он вернулся в Одессу изменившимся – его охватила тоска. Непонятная, неизъяснимая, поразившая все его естество.

Он ушел из банды. Стал равнодушен к кутежам и наркотикам. Имевшиеся деньги растаяли очень быстро, за квартиру платить стало нечем. С поразительным безразличием, сопровождавшим теперь всю его жизнь, Гурий отказался от квартиры и переехал жить к матери.

Утром ел то, что готовила мама, и отправлялся бесцельно бродить по городу. Ни море, ни неповторимая одесская осень, своим очарованием, говорят, сравнимая лишь с осенью в Париже, ни разговоры с растерянной мамой, ни деньги отца – ничто не отзывалось в его душе.

Вид ночной пустыни постоянно возникал перед его глазами; и не хотелось Гурию думать о своем недавнем кошмарном прошлом, но эти мысли возникали помимо его воли и не давали ему покоя.

Однажды случайно встретил Ирен. Посидели с ней у фонтана.

Нынче Ирен – хозяйка рекламного агентства, обеспечена, много путешествует. В свои тридцать четыре года, несмотря на развод и ребенка, не утратила свежести.

Ирен не допытывалась, чем занимается Гурий, видя, с какой неохотой он рассказывает о себе. Наверняка, знала о его былых «геройствах». Пригласила его к себе на дачу на выходные.

Она была в чудесной форме. Ну, может, лицо чуточку округлилось, исчез тот божественный итальянский овал. И руки стали поплотней. Но так же неотразима была ее тонкая шея, и так же розово-нежны были большие веки... В какой-то момент Гурий поднял руку, чтобы зрительно заключить лицо сидящей рядом Ирен в пространство между своим согнутым большим и указательным пальцами. Когда-то он часто пользовался «пальцевым» методом, несмотря на нарекания преподавателей, которые требовали от студентов, чтобы те использовали для измерения только карандаш.

...И мелькнул перед ним загрунтованный холст на станке, и спадающие на обнаженную спину волосы Ирен, и студия с окнами на море...

Но длилось это лишь миг. Он моргнул, и тотчас исчезла, испарилась и та студия, и те годы, и та Ирен. Сейчас перед ним сидела холодная, расчетливая, совершенно чужая для него женщина...

Он иссох так, что одежда болталась на нем, в поясных ремнях появлялись все новые дырочки. Казалось, что эта тоска рано или поздно сожрет его, изложет изнутри. Что в один день он просто не встанет с кровати – то ли от физической немощи, то ли от смертельной апатии...

Однажды, во время своего бесцельного блуждания, он встретил Фимку Ройзмана, с которым вместе заканчивали институт.

Ройзман когда-то владел хорошей техникой письма, но в своем отношении к искусству был слишком рационален. Впрочем, надо отдать ему должное – вовремя понял, что живопись не его стезя, и по окончании института «из чистого искусства» ушел.

Теперь он – босс реставрационной компании в Нью-Йорке. В Одессу приехал в гости, что называется, отдать долг ностальгии, а заодно и прощупать возможные варианты для бизнеса.

Зашли в кафе. Вспоминали студенческие годы.

– Слушай, сделай мне вызов в Америку. Возьми меня в свою фирму, я буду хорошим работником, – неожиданно попросил Гурий. И подумал: «Уехать куда подальше. Это единственный выход».

Глава 5

Прошло уже несколько лет, как Гурий работал реставратором в нью-йоркской фирме «Jeffry Roysman`s Restoration». Слово реставратор в данном случае приукрашивает то, чем Гурий в действительности занимался, – по сути, фирма выполняла обычные ремонтные работы.

Порой попадались объекты более-менее интересные, скажем, особняки браунстоун, где нужно было сделать внутреннюю художественную отделку. Но чаще в современных зданиях приходилось работать со шпателем и пульверизатором, как обычному маляру. Он не роптал.

Как бы там ни было, Гурий имел специальное образование, обладал тонким художественным вкусом, и не был лентяем. Прежнего гонора у него поубавилось. Поэтому в его лице фирма приобрела ценного работника. А взамен ему помогли с рабочей визой.

Он снимал небольшую квартиру, купил машину. Его не мучила ностальгия, он и в Одессе-то в последнее время чувствовал себя чужаком, пришельцем, попавшим в мир нормальных людей.

Часто звонил матери, однако в гости в Одессу не собирался. Мать тоже не настаивала, опасаясь, что, очутившись в родных краях, сын встретится с кем-либо из прежних дружков и возьмется, упаси Боже, за старое.

Словом, Гурий как будто выбрался на спасительный для него берег и успокоился.

Единственное, что служило слабым напоминанием о пережитых бурях в те времена, когда он был художником, это его упорное стремление избегать всего, что имеет какое-то отношение к живописи. В «столице мира» он ни разу не посетил знаменитый Метрополитен-музей, который уж куда богаче Одесского, тут и сравнивать нечего. Не ходил Гурий ни в этот знаменитый музей, ни в другие, менее знаменитые, но тоже богатые коллекциями музеев. Не разу не вошел в залы аукционов «Сотбис» и «Кристи», где накануне торгов для открытого осмотра выставлены всяческий антиквариат и живопись.

Избегал всего этого Гурий, как яркого солнечного света.

* * *

Однажды их фирма подписала контракт на выполнение ремонтных работ в одной коптской церкви. Вернее, не в самом храме, а в некоторых подсобных помещениях. Там нужно было починить лестницы и пол, поменять оконные

рамы и «подлатать» стены. Ремонт в том трехэтажном здании не делался, пожалуй, лет пятьдесят.

Гурий смутно помнил кое-что о Коптской церкви. Одна из старейших православных церквей, возникшая на заре христианства в Древнем Египте, Коптская церковь уцелела и после захвата Ближнего Востока арабами и установления там ислама. Там, в Византийском Египте, жили великие подвижники и аскеты. Там, в египетских и палестинских пустынях, с неповторимой силой расцвело монашество, о котором когда-то в детстве ему читала мама в «Луге Духовном». Там жили львы...

Как-то раз, во время ланча, отказавшись от приглашения напарника идти в буфет, он решил детально осмотреть храм и все остальные помещения, где ремонт не делался.

Заглянул в церковь, интерьером напоминающую русские и греческие, разве что без иконостаса и подсвечников. В трапезной на столах лежали упаковки лепешек и стояло несколько бутылок Пепси-Колы. Зал на втором этаже, судя по всему, использовали для детской школы. Гурий уже собрался идти обедать, но вдруг увидел лестницу, ведущую из коридора в полуподвал. Дверь была приоткрыта, и там горел свет. Гурий спустился туда.

Сразу не понял, где очутился: небольшая комната служила то ли иконописной, то ли кельей, то ли террариумом. Странная смесь икон, лампад, ящериц в аквариумах.

В одном углу – женщина лет тридцати пяти, в сером платье, с непокрытой головой. Стоит на коленях на полу, кормит с руки листьями салата черепашку, разговаривая с ней на каком-то странном языке, звучавшем для Гурия как: «аб-бр-рб...».

Увидев Гурия, она смутилась. Поднялась и, спохватившись, проверила, застегнуты ли на груди все пуговицы платья. Пригладила густые темно-русые волосы и лишь затем улыбнулась. Не зная, на каком языке поздороваться и догадавшись, вероятно, что Гурий – не ее соплеменник, не египтянин, сказала по-английски традиционное:

– Hi. How are you doing?

Сильный акцент слышался даже в этой ее одной короткой фразе.

– I am okay, thank you, – ответил он, оставаясь на месте.

Ждал, пока она не попросит его уйти – все-таки восточные нравы, поди знай, как у них там, что можно, а что нет. Тем более, такая деликатная ситуация: незнакомый мужчина один на один с женщиной, и не где-нибудь – в метро или «Макдоналдс», а в церкви. И, скорее всего, она не простая уборщица, а монахиня. Так что, наверняка, сейчас она вежливо попросит его удалиться. Потом станет на колени вон в том углу, у распятия, и начнет истово

креститься, чтобы изгнать из памяти опасное видение высокого бородатого мужчины в комбинезоне строителя.

– Хотите войти? – неожиданно спросила она.

– Да, – он сделал шаг вперед.

– Меня зовут Мариам, – сказала она. Руку для пожатия, однако, не протянула.

– А меня Гурий.

– Гурий? О, вы носите имя святого мученика Гурия? Наверное, это очень трудно – жить с таким именем, постоянно помня о высоком долге. Проходите, не стесняйтесь. Можете сесть, если хотите, – указала на стул.

Сама тоже села на стул рядом:

– Я слышала, что вы делаете ремонт в нашем здании. Авва Серапион очень доволен вашей работой.

Судя по всему, ее английский был ограничен, поскольку в разговоре она обходилась самыми простыми словами. Но это облегчало им общение, во всяком случае, Гурию не нужно было напрягаться, чтобы понять ее речь, как это приходилось делать в общении с американцами.

Из окошка в комнату проникал голубовато-серый свет. Хотя день был пасмурным, а в комнате горела лишь одна настольная лампа, Гурий все же смог хорошо рассмотреть Мариам.

Ее лицо относилось к тому редкому типу лиц, которые при слабой мимике обладают постоянной изменчивостью и богатством выражений. Ее густые темные волосы были расчесаны на прямой пробор. Карие глаза с короткими ресницами имели красивый разрез, но посажены были чуточку глубоко. Нос – тонкий, в анфас кажущийся ровным, но в профиль – чуточку кривой. И вот это «чуточку» делало ее лицо удивительным. При самом малом повороте головы или наклоне ее лицо тут же менялось, приобретая различные выражения. Оно казалось то совершенно спокойным, умиротворенным, то вдруг – строгим, едва ли не суровым, то – робким, застенчивым.

Роста она была чуть выше среднего. О фигуре тоже трудно было сказать что-то определенное, поскольку на Мариам было длинное, свободного покроя платье, полы которого касались ее босых ног.

Узнав, что он – православный, из Одессы, Мариам обрадовалась. Ни в Украине, ни в России она, правда, никогда не была, но когда-то, во время своего паломничества в Иерусалим, познакомилась с одной русской монахиней, которая обучила ее двум русским словам: «Бох» и «люпов».

– Вы монахиня? – спросил он.

– Нет, я послушница. Живу в монастыре, выполняю там разные поручения, но монашество не приняла – пока недостойна, – улыбнувшись, Мариам поднялась, давая Гурию понять, что на этом их встреча закончена.

– Вы пишете иконы? – вставая, он кивнул в сторону столика, на котором лежали кисти и доска с прорисью какой-то фигуры.

– Да.

* * *

Он стал к ней часто наведываться. Во время ланча, а иногда и после работы, едва успев помыть руки и лицо.

Во время выполнения ремонтных работ он был обут в тяжелые ботинки строителя. Но, входя к Мариам, обувь снимал. (Кстати говоря, все, входящие в здание, будь то в храм или в трапезную, по восточному обычаю, снимали обувь. В коридоре при входе у стены тянулись два ряда мужской и женской обуви.)

Помногу и подолгу они с Мариам не разговаривали, как правило, не более двадцати минут. Иногда она предлагала ему лепешку с водой или Пепси-Колой.

Гурий рассказывал о себе, упоминал о своем «нехорошем» прошлом. Расспрашивал Мариам о ее жизни.

О себе она рассказывала очень скупо: египтянка, родом из Александрии. Выросла в благочестивой коптской семье, училась в институте на историка. Но, из-за своей, по ее словам взбалмошной, бунтарской натуры, учебу бросила и потом долгие годы жила *very bad*. Говоря о своем прошлом, Мариам всегда употребляла только эту фразу – «вери бэд», причем так сокрушенно покачивала головой, что Гурий с трудом сдерживал улыбку. Уж кто-кто, а он-то знал, что такое «вери бэд». Не мог себе представить, что же могла в своей жизни натворить эта тихая, застенчивая женщина, чтобы потом так сокрушаться об этом.

Затем, прозрев, Мариам решила коренным образом изменить свою жизнь и посвятить себя религии. Живет в женском коптском монастыре, на окраине Каира. А в Нью-Йорк приехала недавно: у аввы Серапиона – настоятеля этого храма, в прошлом месяце умерла жена; еще в здании делают ремонт и открыли воскресную школу для детей, а учителей не хватает. Поэтому понадобилась ее помощь.

В этом году на Великий Пост она собиралась удалиться в пустыню, совершить там подвиг безмолвия.

– Увы, в этот раз Великий Пост мне придется провести в Нью-Йорке. Зато в будущем, надеюсь, мне уже ничто не помешает, – она вдруг устремила взгляд на икону, висящую на стене. Подвела к ней Гурия.

На иконе была изображена женщина неопределенного возраста в темном плаще, с поднятыми для благословения руками. От иконы исходила такая невероятная сила, что Гурию было трудно отвести от нее взгляд.

– Это Мария Египетская, великая святая. Как бы я хотела быть похожей на нее... Знаете ее историю?

* * *

«Преподобная Мария Египетская жила в VI веке. Родом была из Египта. Когда ей исполнилось двенадцать лет, она своевольно покинула родительский дом, ушла в Александрию, бывшую тогда столицей Египта. И долгие годы предавалась там разврату, причем не столько ради денег, сколько ради удовлетворения похоти и пристрастия к распутной жизни.

Однажды, когда ей было двадцать девять лет, она присоединилась к группе паломников, направлявшихся из Египта в Иерусалим на праздник Воздвижения Креста. На корабле она тоже блудила, как продолжала блудить и попав в Иерусалим. Когда же она входила в церковь, какая-то сила не позволила ей войти вместе со всеми и отбросила назад. Она попыталась снова, но незримая рука продолжала отбрасывать ее от храма, под общий смех и укоры окружающих.

Смущенная, стояла Мария на площади, среди толп благочестивого народа, до тех пор, пока глаза ее не открылись и она не увидела всю мерзость своей жизни. Мария залилась покаянными слезами, и тогда вход в храм ей был разрешен.

После этого она возжелала глубокого, истинного покаяния. И услышала глас, велевший ей идти в пустыню, за Иордан, и там искать спасения. На следующий день, взяв с собой лишь три хлеба, Мария перешла реку и исчезла в пустыне...

Вскоре все хлеба были съедены, ее одежда истлела и распалась. Страшные искушения она претерпевала первые семнадцать лет. Ходила нагой, под палящим солнцем и ледяным ветром, питалась кореньями и злаками, терпела всевозможные телесные и душевные мучения. В пустыне она прожила сорок семь лет.

Почти перед самой кончиной Марии ее увидел старец Зосима, пресвитер, живший в одном Палестинском монастыре. Во время Великого Поста старец Зосима покинул обитель и отправился в пустыню, где иноки в одиночестве проводили весь Пост.

Старец встретил преподобную Марию, которая поначалу хотела скрыться от него, но, упрощенная, осталась для беседы. Он дал ей, нагой, плащ. Она рассказала ему всю свою жизнь. Зосима поразился, когда Мария, не зная его

прежде, назвала его по имени. Он также поразился ее знанию Святого Писания и учения церкви, хотя она специально этому нигде не обучалась. И другие чудесные проявления поразили старца: во время молитвы Мария на локоть приподнялась над землей, перешла Иордан «яко по суху», предсказала Зосиме его недуг в следующем году.

Он видел ее еще дважды: через год, тоже на Великий Пост, когда по ее просьбе он принес в пустыню Святые Дары, и Мария причастилась; и в последний раз – уже мертвой: она лежала в месте их первой встречи, предсказав за год свою смерть.

Зосима оросил ее ноги слезами, пропел над нею псалмы, однако колебался, где похоронить праведницу. Но увидел начертанную на песке надпись, где Мария просила похоронить ее здесь же, в пустыне.

Зосима пытался выкопать могилу, но не мог: он был слишком стар, а земля очень тверда и камениста. Внезапно откуда-то из пустыни явился лев. Вырыл лапами яму. И тогда старец предал тело Марии земле».

Это – пересказ жития Марии Египетской.

Гурий перечитал его несколько раз. В истории этой великой святой забрезжил для него огонек надежды.

* * *

Он продолжал приходить к Мариам. С мутными от мела и пыли глазами, с пятнами побелки на лбу и бороде. Вены на его руках были вздуты от постоянных нагрузок, плечи под рубашкой утомленно опущены. Реконструкция зданий – не игра в бильярд или карты.

Все чаще во время их разговоров он смотрел на листы бумаги, кисти и карандаши. Но не решался спросить Мариам о самом сокровенном.

Однажды, во время такого разговора, Гурий потянулся рукой к кисточкам в стакане. Взял одну, повертел в руке:

– Понимаете, я очень хочу снова заниматься живописью. Но меня одолевают сомнения... – он приблизил кисточку к своему лицу и неожиданно поцеловал ее гибкий кончик.

– Я это знаю. Я для вас уже давно подготовила кисти, золото и доску.

Глава 6

Фимка Ройзман отмечал свою сорок вторую весну. Дата хоть и не круглая, но был заказан стол в «Гамбринусе» – заокеанском филиале знаменитого одесского «Гамбринуса».

Фимка-Джеффри, хоть и американизировался, в душе оставался одесситом. Несмотря на богатый опыт знакомства с различными кухнями народов мира, в итоге пришел к заключению, что нет лучшей кухни, чем одесская, с ее коронными блюдами: фаршированной рыбой, баклажанной икрой и вареными раками к пиву. Все это и многое-многое другое было заказано в «Гамбринусе» и подавалось к столу.

Стены в ресторане были декорированы рыбачьими сетями и рындами, столы были в виде бочек, звучал одесский шансон. Словом, все отвечало высшим стандартам русского ресторана в Нью-Йорке, где аромат блюд овеивается легким ностальгическим ветерком.

Гурий тоже был среди приглашенных. Ел салаты, потрошил раков. В общем, ничего особенного, обычная ресторанный посиделка.

Необычной была встреча: в зал вошел не кто иной, как Никита, собственной персоной. Бывает же такое! И где? В Нью-Йорке! За тридевять земель от Одессы! Вот это да!

Все трое – Фимка, Гурий и Никита – земляки, бывшие студенты одного института, стояли в центре зала, хлопая друг друга по плечам. Повторяли неизбежное в таких случаях: надо же... вот так встреча...

Никита был не один – с небольшой шумной компанией. Никита как-то огрубел, заматерел за эти годы. Голос его оставался таким же – прокуренным, с прорывающимися звонкими нотками. И смех такой же – козлиный. Как осталась неизменной идеальная выбритость круглой головы, напоминавшей костяной бильярдный шар. Зато некая уверенность и твердость появились в его осанке и жестах. А на руках – новые татуировки. Вскоре все трое вернулись к своим столам, условившись поболтать попозже, времени еще – целый вечер.

...– Да, брат, вот так складывается жизнь: сегодня ты супермен, а завтра – кусочек дерьма в Черном море, – говорил Никита, когда они вышли с Гурием из ресторана на улицу освежиться.

Никита относился к тому типу людей, которые в свою болтовню любят вплетать якобы мудрые фразы: жизнь – это русская рулетка, судьба всех ломает, начало может стать и концом, и т. д.

С Гурием он был откровенен. Да и кого ему стесняться? Мало ли он с Греком «делал делов» в Одессе? Мало ли они ограбили галерей и арт-салонов? Мало

ли выколотил денег из жертв? Вместе они как-то раз шли по одному делу, сидели в разных камерах в КПЗ. Грек тогда держался бойцом, никого не сдал. Но с грабежами и рэкетом районного масштаба покончено, время уголовной романтики ушло. Никита нынче работает на международном уровне: через Одессу удобно сплавлять за бугор паленый антиквариат. Можно вывозить в Турцию или Египет на корабле, можно машинами или самолетами в Болгарию или Румынию. Страны все эти – фуфловые, на таможне всегда можно дать взятку. И визы туда не нужны. А оттуда товар уже легче перевозить в Западную Европу и Штаты.

Словом, Никита занимается контрабандой. Имеет тачку, бабло, полный вагон блядей, хату прикупил. В общем, живет. Да, конечно, опасно. Но, сука, что поделать? Бабло на халяву не дается. Никита оттянул футболку, и Гурий увидел две глубокие прострельные раны на его правом плече.

– Вот так, старик. Работаю по специальности. А ты чем занимаешься? Что? Малярничаешь? Пишешь иконы? Ну-у... Так у тебя, гляжу, жизнь хуже моей. Я-то ладно, я, между нами, человек бездарный. Но ты-то! Недавно я был на вечере выпускников нашего института, там и преподаватели, и пацаны о тебе и твоих картинах вспоминали...

Вертя в пальцах зажигалку, Гурий вяло поддерживал разговор. Пожалел, что сейчас перед ним Никита, а не кто-либо из знакомых одесских художников.

Никита говорил, не умолкая:

– А бандюгана Грека Одесса еще будет помнить долго. Если в городе откроют музей бандитской славы, я первый отвалю бабло, чтобы имя Грека выгравировали на золотой табличке. Вот так, судьба любого сломает. И тебя сломала, опустила в канализацию. А иконы, брат, может писать любой дурак, даже я. Если поумнеешь и захочешь к нам, в бизнес, звони, пиши, вот номер моей мобилы.

Глава 7

Ремонтные работы в «коптском подворье», как Гурий называл тот храм с пристройками, были закончены. Но в условленные часы, дважды в неделю, он приходил туда писать икону.

Мариам оказалась строгой наставницей. Она с такой ревностью требовала от Гурия следовать всем канонам, будто от этого зависела чья-то жизнь или смерть.

– Никакого своего «я». Смирись! Не пробуй писать от себя то, чего еще не видишь. Повторяй только то, что видели глаза зрячих. Твои глаза пока видят столько же, как и глаза у той ящерицы в аквариуме, – наставляла Мариам, склонившись над доской, где уже были первые прориси. Водила тонкой

кисточкой по линии нарисованного нимба святой Марии Египетской, как будто одним касанием кисти старалась почувствовать, не привнес ли Гурий в эту незамысловатую окружность что-либо от своей техники художника, от своего гордого «еще нечистого сердца».

– Плохо отполировано, чисти еще, – Мариам смотрела на икону, где будущий нимб был покрыт только темной глиной. – Нужно, чтобы не осталось ни одной песчинки, ни одного углубления, иначе золото плохо пристанет и потрескается.

Гурий снова тер глину маленьким осколком агата. Нудное, скучнейшее занятие, надо сказать!

Ему порой казалось, что Мариам мстит ему непонятно за что, хочет его унижить, наслаждается своей властью над ним.

Но в то же время происходило что-то странное: сама икона звала, влекла Гурия куда-то. Во время писания, склонившись над доской, под звуки пения псалмов из динамиков магнитофона, Гурий уносился мыслью в свое детство, в одесский двор. Вспоминал ворчливую бабу Феню, друга Генку, с которым они лазали по подвалам и крышам сараев. Вспоминал и свою первую любовь – Лариску из параллельного класса: на школьных вечерах он хотел пригласить ее на медленный танец, но все никак не мог решиться, и от этого долго страдал...

А потом, из родной Одессы какая-то неведомая сила переносила Гурия над иконой в Древний Египет, где с фаюмскими зодчими он писал портреты для мумий на надгробных досках. А затем он попадал в Рим, где вместе с великими мастерами итальянского Возрождения расписывал папские покои, часовни, библиотеки и дворцы...

* * *

Несколько слов о рептилиях, к которым Мариам обращалась куда с большей теплотой, чем к Гурию.

Никакой мистики: ящериц с аквариумом ей отдала на хранение одна прихожанка, уехавшая в Египет. А черепашка появилась случайно: один мальчик из воскресной школы пожаловался, что его черепашка ничего не ест и, наверное, скоро умрет. Принес черепашку Мариам, которая пообещала его выходить.

Она подходила к аквариуму, где, застыв, стояли три ящерицы. Из банки вынимала щепоть кузнечиков и бросала ящерицам. Ящерицы устремлялись на кузнечиков и проглатывали их в мгновение ока.

– Ешьте. Но имейте в виду: скоро начнется Великий Пост, тогда и вам тоже придется поголодать, – говорила она и шла к другому аквариуму.

– Просыпайся, лентяй! Ты уже совсем выздоровел, скоро пойдешь домой, – вынимала черепашку. Гладила по голове, и та, вытянув шею, издавала нежное мурлыканье.

– Не знал, что у ящериц и черепах есть мозги, – однажды заметил Гурий.

– Чтобы чувствовать, что тебя любят, мозги не нужны.

Еще к ней в келью заходила кошка.

* * *

Его уже знали в храме некоторые прихожане и священник авва Серапион – очень высокий, наверное, под два метра ростом, седобородый, одетый обычно в черную, до пола, рясу. Однажды авва Серапион, видя бороду Гурия, пошутил, что в будущем, быть может, недалеко, их бороды станут одинаковы не только по длине, но и по цвету. И добавил, что свою в черный цвет он перекрашивать не собирается. А еще священник благодарил за работу. Почему-то особенно ему нравились новые лестницы. Он знал, что Гурий пишет икону, поэтому не удивлялся его появлению здесь.

Иногда Гурий приходил немного раньше, а порой Мариам была занята – то уборкой помещений, то приготовлением пищи, то делами по школе, где она преподавала коптский язык и историю. Просила Гурия подождать. Случалось, что время писания иконы выпадало на очень важную службу в храме, и ей обязательно нужно было находиться там.

Словом, Гурий стал заходить и в храм тоже, бывать там на службах.

У коптов богослужения чем-то похожи на русские и греческие. Однако и немало отличий. Скажем, в храме все обязательно снимают обувь. Нет хора, зато очень много общих песнопений.

Молящиеся держат руки ладонями вверх, разведя их в стороны и подняв головы, словно навстречу нещадно палящему солнцу. Осенив себя крестным знаменем, целуют свои пальцы с обеих сторон. Еще прикасаются друг к другу сложеными в лодочки ладонями и после прикосновения тоже их целуют.

Женщины – строго в правом крыле, в косынках. Когда плачут, опускают лицо на спинку впереди стоящей скамейки и прикрывают его рукой.

Священник – в белом; размахивает кадильницей в алтаре так широко, так ловко, что она летает над Престолом, будто мяч. Впрочем, быть может, такой стиль каждения – особенность аввы Серапиона, который во время службы внешне прост, почти беззаботен, но внутренне предельно сосредоточен. Впечатление, словно два человека в одном: внутренний – самоуглубленный, и внешний – свободный, простой. Ходит широкими шагами по храму, размахивая кадильницей, прикладывает крест к головам прихожан...

Сидя на скамейке, Гурий слушал эти заунывные напевы, вдыхал благоволия. Мужчины рядом протягивали ему сложенные лодочками ладони, и Гурий в ответ делал то же самое. Становился на колени, часто, очень часто. Шел Великий Пост, поэтому поклонов – земных и поясных, было очень много.

Гурий вспоминал.

Вспоминал, как в детстве причащался Святых Даров, на Рождество и Пасху. Как мама готовила его к исповеди. Говорила, что ангелы будут слышать все, что он расскажет священнику. А потом об этом узнает Бог. Если Гурий расскажет обо всем, что сделал плохого, если признается и пообещает исправиться, то ангелы будут радоваться. А если он что-либо утаит, то ангелы и Бог будут плакать.

Все это было так сложно и так важно, что, по совету мамы, Гурий все записывал на бумажке, заворачивал эту бумажку в фольгу от конфет и перед сном прятал ее под подушку, или привязывал веревочкой к спинке кровати. Писал там о многом: о том, что убил жука и «разобрал его на кусочки, чтобы посмотреть, как он устроен»; что опять разрисовал в квартире стены красками и фломастерами, хотя он и не считает это грехом, но родители почему-то сердятся. Иногда в конце списка добавлял и несколько львиных проступков, намереваясь рассказать священнику и про грехи Льва, который рядом с Гурием тоже горько плакал и признавался, что сожрал мулла, но больше так не будет...

И рядом, у самого изголовья, ему порой казалось, стоит его дед Ионос. Как на фотографии в семейном альбоме. Дед, вышедший из катакомб, из того черного гранитного камня на кладбище. Слушает внука, подсказывает, что добавить к тому списку. Гладит по голове теплой ладонью. «Гури, Гури. Да благословит тебя Бог наш...»

А еще Гурий вспоминал, как в Одессе несколько раз заходил в недавно открывшийся храм Святых Мучеников и Исповедников Российских. Храм находился неподалеку от студии, которую Гурий тогда снимал. Более полувека здание использовали под склад, и только недавно его вернули церкви.

Там служил монах Дамиан. Худой и бледный, как свечка. Несколько раз, тоже во время Великого Поста, Гурий побывал там.

...Поздний вечер. Дамиан – в центре, в мантии и высоком клобуке. Стоит, воздев руки горе: «Господи, Владыко живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми...» Становится коленями на бетонный пол, касается пола лбом. Гурий, поддавшись сильному впечатлению, тогда это было только впечатлением, тоже становился коленями на пол по десять, пятнадцать раз, до боли в коленных чашечках....

Один раз после службы он поговорил с монахом, упомянул и про своего деда, о котором Дамиан что-то слышал. Дамиан был старше Гурия лет на восемь-десять. Они сразу прониклись друг к другу взаимной симпатией, быть может, в силу близости своих возрастов. А еще в Дамиане под монашеской мантией и клобуком угадывался интеллигент, в недалеком прошлом выпускник какого-то института.

Лишь несколько раз заходил туда Гурий, только однажды поговорили, и то недолго. А вот почему-то врезалось в память.

...И сейчас, слушая эти песнопения на чужом – коптском – языке; становясь на колени вместе с незнакомыми ему мужчинами и женщинами в чужом, по сути, для него храме; подставляя голову под крест, Гурий вспоминал и впервые пересматривал всю свою жизнь.

В страшной мерзости и грязи видел он теперь свое прошлое. Возникали перед его глазами люди с перекошенными от ужаса лицами. Избитые, изувеченные, отвезенные на «скорой» в больницы. И видел перед собой Гурий холсты с чудесной живописью, которые он уничтожил собственной рукой, терзаемый завистью, гордыней, ненавистью к себе. И вспоминал он женщин – проституток, ресторанных девок, с которыми обходился одинаково: унижал, тянул за собой в еще больший разврат.

И думал теперь Гурий, почему же его, дрянь этакую, Бог так жалел. Почему столько раз отводил от него пулю? Почему спасал от передоза, от СПИДа? За что же ему такая честь?

И таким он проникался стыдом за себя, что в глазах становилось темно, будто спускался он в самую что ни на есть преисподнюю. И не видел Гурий за собой никаких заслуг, ничего, за что бы он имел право на прощение. И добрый дед Ионос, и ангелы, и великие художники Возрождения, и мама, и Лев, и соседи, и монах Дамиан – все смотрели на него. И совращенные женщины, и ограбленные им художники, и избитые галерейщики, и их дети, и жены, и Христос с распятия – обступив кругом, взирали на него, лежащего в слезах и отчаянии, и никто, никто не протягивал ему руки и не прощал...

Глава 8

Да, многое менялось в жизни Гурия, в том числе и... Мариам. Она оказалась чертовски привлекательна. Как же он раньше не замечал этого?!

Все в ней теперь было исполнено женской нежности. Ее лицо, ранее казавшееся ему простоватым, лишенным утонченности, часто строгим, незаметно преобразилось. Ее темные глаза, искривленный нос, мягко закругленный подбородок – каждая черточка теперь была напоена негой. Ее

глубокие темные глаза звали, манили, завораживали. Гурия все сильнее волновал оливковый оттенок ее кожи.

Мариам была трогательно прекрасна, когда, встав на цыпочки, зажигала лампы. Он пристально следил, как она ступала босиком по полу в своей келье или трапезной, где готовила еду и убирала. Не мог оторвать глаз, когда она, став на колени, кормила в аквариуме ящериц. Широкое, свободного покроя платье не могло скрыть ее прелестных форм.

Он видел, что и Мариам ждет от него чего-то, волнуется, нервничает без видимой причины.

* * *

Как-то раз, в августе, Мариам попросила свозить ее к океану – соскучилась по морю, ветру, песку.

Гурий привез ее на один далекий пляж, как просила Мариам, – чтобы поменьше людей, чтобы ни шума, ни барбекю.

На пляже, когда они приехали, оставалось лишь несколько человек, да и те, по всей видимости, собирались уходить. За годы жизни в Нью-Йорке Гурий успел полюбить это место, где, в силу удаленности от города, было всегда малоллюдно. К тому же с берега открывался живописный вид. Мариам сняла свои черные грубоватые туфли и, босиком, пошла по песку. Несла в одной руке туфли, в другой – букетик собранных цветов. Подносила их к своему лицу. Неожиданно остановилась:

– У нас возле дома когда-то росли цветы. Они пахли точно так же, как эти... – вздохнув, пошла вперед.

Закатное солнце медленно спускалось к воде. Над водой летали редкие чайки и альбатросы в поисках поживы, но большинство птиц уже грелись в теплых песочных ямках.

Солоноватый запах проникал в ноздри Гурия, ветер трепал его длинные волосы. Сев на песок, он смотрел на Мариам, как она подошла к воде, слегка приподняв подол длинного светло-серого платья. Взяла камешек и бросила в воду. К ней подлетели чайки, видимо, посчитав, что сейчас их будут кормить. Гурий пересыпал песок из руки в руку. Ну не было, не было сейчас в Мариам суровой послушницы, которая жила в монастырях и мечтала уйти в пустыню на Великий Пост, чтобы там каяться.

Вот она, откинув назад прядь волос, пробежала по воде вдоль берега, больше не заботясь, что намочит платье. Наклонившись, подняла краба и бережно понесла его обратно в воду. И чайки за нею летят, глупые, ждут, что она кинет им чего-нибудь на поживу, того же краба.

Затем взобралась на камни волнореза и, подняв руки к заходящему солнцу, на миг застыла. И так хорошо, наверное, ее ногам от холодных камней. Чайки над нею, кружат и так пищат, что даже сюда, к берегу, доносятся их пiski. «Ах, какая сильная картина!»

Гурий не раз задавался вопросом: что значит для него Мариам? Но ответа не находил – а сейчас его голова кружилась от волшебных запахов, красок, звуков. «Бох и люпов! Бох и люпов!..»

Поднявшись и отряхнув джинсы, он направился к ней.

Уже смеркалось. Багровый пылающий краешек солнца вот-вот исчезнет за горизонтом.

Мариам стояла по щиколотку в воде, бросала камешки.

– Хороший вечер, – сказал он, остановившись у нее за спиной.

– Да, чудесный, – она повернулась к нему лицом.

Гурий даже не успел заметить, как это случилось, что в него полетели брызги. Мариам, засмеявшись, снова плеснула в него водой.

– Ах, так! – воскликнул он. Войдя в воду по колени, зачерпнул пригоршню воды и тоже брызнул в нее.

Они стали бешено обливать друг друга водой.

...Мариам прижалась к нему. Гурий крепко обнял ее, стал целовать в мокрое, соленое лицо, в шею.

– Люби меня, целуй! И здесь целуй, и здесь... Раббах-дивар-ранам...

...Они сидели на теплом песке, на ночном безлюдном пляже. На их голые плечи были наброшены строительные спецовки, которые Гурий принес из машины.

– Я когда тебя впервые увидела, то почему-то испугалась. Нет, не потому, что ты показался страшным. А потому что я сразу поняла, что влюбилась в тебя, – Мариам осторожно прикоснулась к его волосам, провела рукой по бороде, словно желая убедиться, что это не сон.

Долго молчала. Затем легла на песок, вытянувшись и подняв руки к ночному небу.

Сквозь монотонный гул прибоя порой прорывалось щебетание птиц.

– Знаешь, когда-то в детстве я часто представляла себя, заблудившейся в пустыне. Ложилась дома на пол, закрывала глаза и видела вокруг змей, львов, орлов... – она взяла его руку и потянула к себе.

* * *

На следующий день машина Гурия остановилась неподалеку от знакомого коптского храма. Он вытащил из багажника две большие, только что купленные сумки, чтобы сложить в них вещи Мариам.

...Мариам впустила его в келью. К удивлению Гурия, он не увидел в комнате ожидаемого беспорядка, который обычно возникает перед отъездом жильца. Все было на своих местах: столик для писания икон, полка с книгами, раздвинутая переносная штора, за которой стояла кровать. Словом, никаких признаков отъезда.

Только у иконы Марии Египетской горело почему-то много свечек, и в комнате крепко пахло воском.

Мариам держала на руках кошку. Была спокойна, правда, выглядела уставшей. Смотрела на Гурия в упор, не переставая гладить кошку.

– Я знала, чем это закончится. Мне говорили, что я не должна видеться с тобой; и авва Серапион говорил, и игуменья, и все.

Гурий хотел что-то сказать, но она перебила:

– Я буду гореть в огне. Бр-ра... Гх-рам, риш-хем... – перешла на коптский. – Уходи. Забудь меня. Прошу тебя, уходи...

– Нет. Я уйду отсюда только с тобой, – он демонстративно бросил на пол сумки.

Так они стояли молча друг напротив друга.

– Мрр-ряу! – громко мяукнула кошка, которую Мариам резким движением сбросила с рук.

– Хорошо, – ответила спокойно.

И тут произошло что-то непонятное, непостижимое. Мариам медленно поднесла руки к своему лицу и, не меняя выражения, так же молча, стала царапать его ото лба – вниз, и по горлу. Царапала с такой силой, что лицо ее сразу покрылось тонкими извилистыми линиями порезов, из которых сперва просочились красные капельки, а потом потекли кровавые ручейки.

* * *

Через несколько дней Гурий вернулся, но дверь в келью Мариам была заперта.

– Она уехала в Египет, – сказал подошедший авва Серапион, не сводя с Гурия глаз. – Она просила передать тебе твою недописанную икону.

– А-а!.. – Гурий застонал, как от боли, и прижал кулаки к глазам.

* * *

Пусто стало в мире.

Гурий постоянно слышал ее голос. Мариам чудилась ему в незнакомых женщинах, которых он встречал повсюду в городе.

Он понимал, что они с Мариам – из разных миров, помнил ее слова о том, что монахини обручены Небесному Жениху.

Да-да, все правильно, все верно. Но ведь Мариам не монахиня! Она послушница – обычная женщина, живущая в монастыре. Сама же не раз говорила о том, что не приняла монашество, дескать, еще недостойна. Значит, никаких обетов верности не давала. Она свободна распоряжаться своей судьбой!

И почему за столько лет она так и не приняла монашество? Могла, но не приняла. Вероятно, боится оборвать последнюю ниточку, связывающую ее с нашим, грешным, миром. Не уверена, что этот путь ее – навеки затворить себя в монастырских стенах.

И вообще, придумала она многое о своей жизни, приукрасила. Не была она никакой блудницей, не танцевала ни в каких борделях, не снимала мужчин на египетских курортах! Уж он-то, Гурий, когда-то с этой публикой был хорошо знаком...

Или, может, она и в самом деле желает стать святой, новой Марией Египетской?..

Он раздобыл электронный адрес того монастыря в Каире, написал туда письмо, на имя игуменьи. Получил сухой, короткий ответ, в котором игуменья просила попусту не тревожить сестру Мариам.

Он не сдавался, в письмах упрашивал игуменью, чтобы она разрешила Мариам отвечать ему хотя бы раз в месяц, хоть раз в полгода. Но больше не отвечала ему строгая игуменья.

* * *

Вся его тоска по Мариам изливалась в живописи. Он изображал ее в разном антураже: у распятия – коленапреклоненной; у зеркала – с ползающими по ее телу змеями; обнаженной на волнорезе над закатным морем.

Никогда ранее он так свободно не работал кистью. Смело наносил на холст мазки масляных красок, каждая линия была исполнена лаконизма, точности, таила в себе глубокую пластику.

Иногда, вытерев ацетоновой смывкой испачканные руки, Гурий подходил к стоящей на столе недописанной иконе Марии Египетской. Смотрел на лик святой. Вспоминал, как еще не так давно писал эту икону.

По какой-то странной причине, однако, когда Гурий стоял перед этой иконой, его часто посещали видения. Он видел Мариам предельно ясно, так,

будто мог к ней прикоснуться. Она была рядом с ним, разговаривала с ним, позировала ему как прекрасная натурщица.

Глава 9

В Манхэттене, между Бродвеем и Пятой авеню, в районе 50-60-х улиц, находятся фешенебельные гостиницы, бутики мировых брендов и дорогие магазины антиквариата и ювелирных украшений. В тех роскошных отелях останавливаются крупные бизнесмены и политики; это излюбленное место туристов, которым нравится поглазеть на дорогие вещи в магазинах, проникнуться возбуждением и чувством нескончаемого праздника «столицы мира».

Если вам случится оказаться в Манхэттене, и даже если в ваших карманах не густо, возьмите такси и обязательно посетите этот район...

Относительно недавно там открылся новый художественный салон, где были выставлены на продажу картины, ювелирные украшения и антиквариат. Открытие прошло с большой помпой, даже для видавшего виды Нью-Йорка. Городские таблоиды и журналы пестрели рекламой, на нескольких каналах ТВ прошла серия передач, в метро, на щитах желтых такси, на автобусных остановках и даже в аэропортах – повсюду замелькала реклама салона «Russian Modern Art». Такое название салона, говорят, придумал сам хозяин. Имя владельца «Russian Modern Art» – мистера Филиппа – было окружено разными слухами и легендами. Никто толком не знал, откуда этот Филипп взялся, кто он такой, а главное – откуда у него столько денег?

Аренда помещения в этом месте в Манхэттене стоит наверняка сто тысяч долларов в месяц. А рекламный щит в аэропорту Кеннеди?! Вы что – шутки шутите? Разве это мыслимо размещать на год рекламный щит в аэропорту JFK? Да за такие деньги можно накормить и одеть населению какой-нибудь голодной страны!

И вообще: кто он такой, этот Филипп? Известный искусствовед, ценитель прекрасного, – если занимается картинами и антиквариатом? Или он крутой биржевик, банкир, новый русский Ротшильд? Или он меценат, покровитель муз, как его представляет пресса? Все-таки – откуда у него деньги?

Говорили разное: и то, что Филипп – тайный агент Кремля, сотрудник ФСБ в звании полковника, внедренный для создания агентурных каналов в американском истеблишменте; говорили также, что он владелец акций «Газпрома», и даже – что он известный мафиози, торговец крупными партиями оружия, наркотиков и антиквариата.

Что из этого правда, а что ложь, мы не знаем. Какую только напраслину порой не возводят на порядочных российских бизнесменов!

Всезнающий «Гугл» в этот раз ограничивается сухой справкой. На одном из сайтов сказано лишь то, что мистер Филипп – такого-то года рождения, родился в Тамбове, жил в Москве, окончил архитектурный институт. Затем стал бизнесменом и в настоящее время владеет художественным салоном «Russian Modern Art» в Манхэттене, именно тем салоном, куда четверть часа назад вошел Гурий.

Услужливый менеджер попросил мистера Гурия пройти по коридору прямо, потом налево, мистер Филипп его ждет в своем офисе.

* * *

– Окей, парень, считай, что ты родился под счастливой звездой. Тебе повезло, что встретил меня. Ты мне чем-то нравишься, наверное, своей бородой, – толстый мужчина лет пятидесяти пяти в черном элегантном костюме и белой рубашке сидел напротив Гурия в кожаном кресле с высокой спинкой.

Его мясистое лицо было гладко выбрито, под длинным, ровным и острым, похожим на клюв, носом расположилась щеточка аккуратно остриженных усиков. Светло-русые ровные волосы были коротко подстрижены и зачесаны набок. В этом холеном лице сибарита был особо примечателен взгляд темных глаз – это был взгляд холодного скользкого удава.

– Твою монашку мы завтра выставим во втором зале, за тридцать кусков. И другую твою картину – кающуюся Магдалину со змеями, я тоже покупаю. Тоже за тридцать кусков. Окей? – задумавшись, мистер Филипп поднес кулак к носу и глубоко вздохнул, отчего его грузный корпус поднялся под пиджаком и раздулся еще больше.

Затем он выдвинул ящик стола и стал вынимать оттуда пачки новеньких соток.

– Это твой аванс, – он аккуратно сложил деньги невысокой стопкой и пододвинул ее к Гурию. – Здесь пять кусков. Пересчитай. Когда картины продадутся, получишь еще столько же. Контракт у менеджера. Если что-то не устраивает, можешь сразу уходить, чтобы я не тратил время. Таких нищих непризнанных гениев в Нью-Йорке – пруд пруди. Рыщут, как голодные шакалы. Ваша художественная братия – извини меня, полное говно. Даже художники с именем готовы лизать мои туфли.

Зазвонил мобильник на столе. Мужчина, скривив лицо, нажал пальцем на экран, отменив звонок:

– Шумяков. Все ему мало, хочет мне впихнуть еще кого-то. За тебя свой процент он уже получил.

Гурий молча выслушал эти оскорбительные слова. Но по большому счету – это же неслыханная удача: две его картины будут выставлены в известном салоне, в самом сердце Манхэттена!

– А ты, парень, что, деньги не любишь? – неожиданно спросил мистер Филипп, потому что за все время их разговора Гурий ни разу не взглянул на лежащие перед ним деньги. И это не могло не вызвать у мистера Филиппа неподдельное удивление.

– Почему же? Люблю, – Гурий сгреб деньги со стола и, ловко зажав их между пальцами, начал быстро пересчитывать, как человек, который некогда имел дело с крупными суммами наличных денег, и которому не раз приходилось их быстро считать.

– Хорошо, парень. Рисуй свою бабу дальше и приноси мне. Красивые бабы пользуются спросом во все времена.

* * *

Прошло немного времени, и Гурий обнаружил, что по своей натуре мистер Филипп обычный русский хам, но при этом обладает хорошим художественным вкусом и умеет отличить подлинное искусство от подделки. И это в их отношениях сыграло определяющую роль.

Восемь картин Гурия были проданы, и две новых должны были выставить на продажу в ближайшие дни. Его картины висели уже не в дальнем углу последнего зала в салоне, возле двери пожарного выхода, а поближе к центру, к холстам современных российских художников, чьи имена на слуху. Заметно увеличился и размер гонорара – стопка стодолларовых купюр стала выше той, первой, и пересчитывать полученные деньги Гурию приходилось чуток подольше, чем в первый раз. Салон «Russian Modern Art» подписал с ним контракт на эксклюзивное право продавать принты с его картин. Условия контракта, правда, были грабительскими и контракт составлен так, что Гурию от этой сделки вряд ли что-то достанется.

Он ушел с работы «реставратора-маляра». Жил в прежней квартире, но снимал и отдельную мастерскую.

Конечно, он был рад. Но голова его не кружилась от успеха, вернее, кружилась, но не до такой степени, чтобы все забыть.

Он ждал Мариам, ждал письма от нее, ждал ее возвращения. Ждал чуда. Представлял себе, что однажды придет домой, поднимется по лестнице, и она – у его порога. Или в один день он заглянет в электронный ящик проверить почту, – а там письмо от нее, из монастыря. Или кто-то из той коптской церкви позвонит на его мобильник. Например, Авва Серапион – сообщит, что Мариам в Нью-Йорке.

Чудо, однако, не случилось. Чудо откладывалось на неопределенный срок. Чудо вообще могло не случиться.

Иногда Гурия охватывала такая сильная тоска по Мариам, как если бы она умерла. Он все чаще видел ее во снах – умершей, лежит на диване, или на полу, или в пустыне на песке. Проснувшись и наспех одевшись, он садился за руль своей машины и посреди ночи зачем-то ехал к той коптской церкви. Но там во всех окнах свет был погашен, двери заперты. Побродив вокруг здания и повздыхав, он возвращался домой.

* * *

Однажды он остановил взгляд на недописанной иконе Марии Египетской – и его охватила страшная досада. «Все из-за нее, из-за нее! Она виновата в том, что Мариам не со мной! Мариам все себе придумала. Не было никакой Марии Египетской. Это вымысел, сказка, бред».

В доме, где жил Гурий, внизу, в холле, стоял бетонный стол. На этом столе жильцы порой выкладывали им ненужную, но в хорошем состоянии различную домашнюю утварь, одежду, книги, компакт-диски и т. д.

Гурий снял икону со стола и, спустившись по ступенькам, положил ее на бетонный стол. Отряхнув руки, вернулся домой.

На следующее утро, проходя мимо того стола, заметил, что иконы там нет – ее кто-то взял.

Глава 10

И с этого дня что-то стало меняться в его живописи. Нет, на полотнах была все та же женщина – Мариам, в разных образах. Картины были выполнены в замечательной, едва ли не безупречной технике. Но исчезла глубина и тепло. Женщина на картине была холодна, какими бы яркими и сочными мазками Гурий ни старался ее оживить.

Он постепенно перешел на «чистую эротику», писал свою героиню исключительно обнаженной в надежде таким образом добиться эффекта. Его картины становились проще по замыслу и беднее по содержанию.

Скажем, задумал написать рабыню в древнеримском цирке, которая кормит в клетке льва, но почему-то стал рисовать голую девку на мотоцикле «Халей-Дэвидсон».

Чутье художника беспощадно подсказывало ему, что это не никакая не чистая эротика, а грязная порнуха. И летели на пол разорванные листы бумаги, и ломались пополам в его руках карандаши и дорогие кисти.

Мариам, что странно, больше не являлась к нему, ее образ стал расплывчатым и далеким, словно и не существовал никогда. Гурию теперь приходилось пользоваться услугами обычных натурщиц.

* * *

– Сколько раз тебя просили, коз-зел, не надоедать мистеру Филиппу! Ты что, русский язык не понимаешь?! Он же тебе сказал, что ему твоя мазня больше не нужна, – заломив ему руки за спину, Гурия вели к дверям два мордворота-охранника.

Он пытался вырваться, извивался.

– Он мне должен бабки за картины, десять тысяч баксов, – хрипел Гурий, пытаясь выдернуть руку.

Ему почти удалось вырваться, но один из охранников схватил его сзади за волосы и крепко потянул, а другой сдавил Гурию горло:

– Ты что, сука, не понимаешь, с кем имеешь дело? Ты имеешь дело с серьезным бизнесменом, меценатом. А ты кто? Ты – чмо болотное. Это ты должен хозяину бабки, а не он тебе.

Они уже стояли у наружных дверей салона. Один из охранников потянул дверную ручку на себя:

– Запомни: еще раз придешь сюда со своей мазней или будешь надоедать звонками боссу – вызовем полицию. И поедешь в Райкерз-Айленд, греть американские нары. Мало ты в Одессе получил от мусоров? Думаешь, мы не знаем, кто ты? Все знаем, все проверили. Ты еще в своей сраной Одессе не отсидел за свои художества, коз-зел!

И охранники вытолкнули Гурия на улицу.

* * *

Никита держал металлическую ложку над огоньком зажигалки. Внимательно смотрел, как в нагревающейся воде на дне ложки быстро растворяется серый порошок.

Два шприца уже были вынуты из целлофановых упаковок и лежали на столе, еще пустые.

Гурий сидел напротив Никиты и наблюдал за тем, как тот погасил зажигалку и положил в ложку ватку-фильтр. Взял шприц и стал медленно втягивать через ватку мутноватую жидкость. Все это Никита проделывал молча, словно боялся, что произнесенное слово может нарушить священный ритуал. Пожалуй, это было единственное время, не считая, конечно, времени сна,

когда Никита не болтал и не хихикал. Оно и понятно: одно неточное движение – и бесценный раствор пролит, и тогда все пропало.

Они сидели в гостиной, в квартире Гурия. За окнами моросил унылый ноябрьский дождь.

– Ок-кей.... – наполнив шприц, Никита откинулся в кресле. Пристально посмотрел на содержимое в прозрачном цилиндрике. – Все-таки Америка – цивилизованная страна. У нас, в Одессе, пацаны по-прежнему варят маковую соломку в кастрюлях. И шприцы пускают по кругу, никаких санитарных норм. Оттого пол-Одессы болеет СПИДом. И всем на это наплевать. Дикари. Кстати, помнишь Валеру Троглодита? Недавно его нашли с простреленной головой в подъезде собственного дома. Вот так, жизнь – русская рулетка, сегодня повезло, а завтра... Ладно, Грек, поехали.

Не спеша Гурий взял ремень для жгута. Не сомневался, что сейчас, вместе с этим уколом, оборвется последняя ниточка, связывающая его с миром людей. И тогда уже больше не хватит ни его сил, ни воли, чтобы остановиться.

Тепленькая мутноватая жидкость в шприце. Тонкая иголка. Синие вздутые вены на руке. Рука – крепкая, жилистая. И свежие вены. Давай, давай...

Никита мелко вздрагивает, закрыв глаза, медленно толкает поршень шприца. Рот его приоткрыт. В его спине и в ногах наверняка уже растекается благодатное тепло. И спокойствие, тишина, безбрежная тишина нисходит в сердце...

Вдруг Гурий видит перед собой женщину в черном платке, которая плачет кровавыми слезами. Женщина хочет вырвать из его рук шприц. Молится, возносит к небу руки...

Но такая теплая жидкость в шприце. И с таким блаженным видом сидит в кресле Никита, ничего вокруг не видя и не слыша. Уже пустой шприц Никиты лежит на столе.

Вдруг – звонок в дверь. Гурий вздрогнул, его глаза сверкнули: «Мариам! Ушла из монастыря и вернулась ко мне!» Он ринулся к двери.

Чернокожий парень стоял на пороге. Широко улыбнувшись, предъявил Гурию свое удостоверение представителя компании, которая предлагает клиентам электроэнергию по низким ценам...

– Ходят тут всякие бездельники, морочат людям голову, – возмутился Никита, когда Гурий вернулся. – Молодец, Грек, что позвонил мне, причем позвонил как нельзя вовремя. Итак: дело очень крутое и заказчик серьезный. Нужно подломить музей. Наш, одесский, западного и восточного искусства. Там на втором этаже висит «Поцелуй Иуды» Караваджо, помнишь? Охрана фуфловая, днем лишь два охранника, а ночью вообще никого нет.

Сигнализацию не меняли, наверное, со времен Сталина. Честно признаться,

удивляюсь, почему его не грабанили до сих пор. Почему мы не взяли того Караваджо еще десять лет назад, а?

В комнате повсюду валялись бутылки из-под водки и пива, в углу кучей были свалены разорванные холсты, на полу – поломанные кисти, презервативы. Чья-то губная помада, косметички.

– Заказчик – в Германии. Но мы сначала из Одессы перевезем картину в Румынию. Оттуда – в Голландию, там свои люди. Потом еще поторгуемся с заказчиком. Он дает только десять лимонов, и мои лохи-хозяева на это согласны. Кстати, ты у нас специалист, объяснишь им, какая реальная цена этой картины. Я им говорю: за Караваджо нужно брать лимонов двадцать, не меньше. Слава Богу, в фирму теперь пришел нормальный чувак, с американскими корочками и с опытом работы. Во будет шороху во всей Одессе, когда узнают, что Грек вернулся...

Гурий сидит неподвижно. Одесский музей западного и восточного искусства. Знаменитый Караваджо! Сотни дней, проведенных перед этой бессмертной картиной, где Иуда целует Христа, окруженного римскими воинами...

– Старик, угадай, кто нас вывел на заказчика? Филипп, да-да, тот самый – хозяин «Рашен Модерн Арт». Прикидываешь? Я вообще подозреваю, что Филипп и есть реальный заказчик, а тот, в Германии, подставной... Грек, ты чего ждешь? Купишь себе в Одессе хату, тачку, телку. Будешь жить, как человек. Втыкай, Грек, не пожалеешь...

Эпилог

Худой, как щепка, с исколотыми руками, с абсцессами на шее, в порванных джинсах и футболке, ходил Гурий по пустыне. Его изможденное лицо было вытянуто, ввалившиеся щеки покрывала грязная борода, длинные нечесанные волосы свисали до плеч. Глаза его казались огромными, вернее, это были не глаза, а две темные глубокие ямы. От его отравленного опиумом тела и потной одежды исходил невероятный смрад.

Сколько дней он провел в пустыне, Гурий не помнил и знать не хотел. Даже не помнил, где – в Египте или Израиле – оставил свои вещи. Все это теперь не имело никакого значения.

Солнце жгло пустыню. Яркий свет заливал склоны величественных тысячелетних гор, безмолвных свидетелей жалкой человеческой истории, истории набегов, разбоя и бесконечных войн.

В великолепии оттенков, в строгости линий открывали горы свои бескрайние владения. Белый песок сменялся темной вязкой грязью, наслоенной на скалы, и эта грязь ломалась под сандалиями Гурия. Он часто поскользнулся,

скатывался вниз по склонам и там лежал, едва шевелясь, чувствуя, что его ослабевшее сердце не выдержит таких нагрузок и дыхание вот-вот оборвется. Проходил сквозь ущелья, где ненадолго садился на пыльную каменистую дорогу, чтобы передохнуть в тени. Иногда стоял на самом краю пропасти, над крутыми обрывами, где один неверный шаг мог навеки утянуть его вниз. Несколько раз ему попадались пустые банки Pepsi-Cola и порванные корзины, наверное, брошенные бедуинами. Как-то раз он издали увидел их лагерь: люди в длинных черных балахонах ходили возле больших черных палаток. Возле палаток бегали детишки, стояли два легковых автомобиля. На холмах поблизости лежали верблюды.

Но не пошел к бедуинам Гурий. Не их он искал и не они ему были нужны. Он помнил слова Мариам, что на каждый Великий Пост она будет удаляться в пустыню, совершать подвиг безмолвия. Она здесь, в пустыне, и он найдет ее!

Ночью он лежал на земле, возле какой-нибудь еще теплой скалы. Съежившись, поджав ноги к животу, как жалкий котенок. Дрожал. Но стоило ему закрыть глаза, как тут же возникали варварски вырезанные из рам картины, пачки долларов, кровь... Он дико кричал, становился на колени и рыл грязь уже давно разодранными пальцами.

Как-то под утро, когда он то ли заснул, то ли пробуждался, услышал странный шорох. Это шуршали священнические ризы. Дед Ионос, в полном облачении, вышел из одесских катакомб и приблизился к Гурию.

– Здравствуй, сынок, – сказал дед. – Вот ты, наконец и вернулся. Я так долго тебя ждал. Вставай, вставай, – дед помог ему подняться.

Рука его была очень легкая и, в то же время, крепкая, твердая. Он поцеловал Гурия в щеку. Потом взял маленькую кисточку и обмакнул ее в серебряную чашечку с елеем:

– Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, – сказал по-гречески.

Теплое, пахучее масло после прикосновения кисточки густо полилось по лбу Гурия, по щекам, капая на грудь. Он хотел что-то сказать, но все слова уже как будто были им сказаны.

– Слава нашему Господу, что привел тебя, – сказал дед Ионос и, подняв лицо, перекрестился. Его запястья, выглянувшие из-под широких рукавов, были в крови от наручников.

И исчез дедушка Ионос, вернее, не исчез, но как будто отошел в сторону, стал поодаль, готовый идти следом за Гурием, кротко улыбаясь в бороду.

И заблагоухала пустыня елеем, и силы у Гурия прибавилось, и смог он идти дальше.

А вечером меловые горы пустыни становились пепельными. И трудно было взбираться на склоны, потому что ноги Гурия были слабы, и не за что было ухватиться худой руке.

И когда полетел он в какую-то глубокую яму и почувствовал, что у него больше нет сил подняться, снова послышался шорох ткани. И вышел к нему монах Дамиан. Поднял его и, улыбнувшись, повел вверх, по крутому склону, как по ровной дороге.

– Когда-то в Одессе, помнишь, ты приходил в церковь. И мы вместе трудились в поклонах во славу Божью, – сказал Дамиан и, помолчав, добавил. – Я умер от рака три года назад. Но смерти нет, для Бога всё живу. Они взошли на высокую гору. Дамиан – в черной монашеской мантии поверх рясы и в клобуке, устремил взор куда-то на Восток, где в темном небе прорезывалась красная полоса восхода...

А потом пришла мама. Гладила по голове. Целовала. И повторяла: «Сынок, Гуручка, вставай...» И он чувствовал на своем гноящемся обожженном лице ее теплые живительные слезы. «Да, мамочка, да. Сейчас, только не плачь, не плачь...» – просил он ее.

На равнине он срывал травинки и жевал, высасывая из них капельки влаги. Недолго с ним шел авва Серапион, длинный и худой, широкими шагами, весело размахивая кадильницей. Говорил на коптском о том, что вот теперь у Гурия борода тоже вся седая и волосы тоже седые.

– «Любовь все прощает, всему верит, всего надеется...» – напевал авва Серапион, а Гурий ему подпевал.

И странным казался этот иссохший, грязный мужчина, бродивший по пустыне день и ночь и распеваящий псалмы. Как будто вернулись времена древних отшельников, кочевавших по пустыням всего христианского Ближнего Востока, спавших на земле и славословивших Бога своими песнопениями...

...Он сидел, вперив в нее взгляд безучастных, обезумевших глаз.

Она лежала на песке, неподалеку от одной пещеры в горе. Лицом к Востоку, со сложенными на груди руками. Близ головы на песке можно было различить еще не заметенные песком три буквы «А I А».

Темная, протертая во многих местах власяница из верблюжьей шерсти покрывала ее обожженное, темно-орехового цвета тело. Руки ниже локтей и ноги от колен вниз были высушены до самых костей. Кожа на шее и на лице ее была в толстых складках и морщинах. Собственно, это было не лицо, а ссохшаяся маска с выдававшимся вперед иссушенным коротким носом.

Сквозь приоткрытые губы зияла трещина рта. Короткие волосы тоже выгорели и имели пепельный цвет.

Ничего в этой мумии не напоминало Мариам. Ничего. Но Гурий не сомневался в том, что это она.

Неподалеку сидела ящерица. На власяницу умершей порой запрыгивали кузнечики, и ящерица ждала удобного случая, чтобы на них напасть.

Ледяной холод ночью, невыносимый зной днем. Дикие животные, ядовитые змеи. Не слишком ли много этого для одной маленькой женщины? Самой кроткой и самой мужественной женщины на Земле...

Гурий достал из кармана зажигалку и свечу. Прикрывая ладонями от ветра, зажег свечу и поставил ее у изголовья умершей. Но ветер тут же ее задул. Тогда Гурий подобрал один из камней, поставил его для заслона. Снова вспыхнул огонек.

Он решил: когда догорит свечка, предать тело Мариам земле, – это единственное и последнее, что он должен сделать. Потом он ляжет рядом, возле ее могилы, и больше не встанет. Он умрет возле Мариам, вдали от мира, которому подарил мало прекрасного, зато принес столько горя и страданий...

Ему захотелось, чтобы все это случилось поскорее. Ожидание, пока догорит свеча, рытье ямы и предание тела земле казались ему тягостной обязанностью, которую он должен исполнить.

Солнце постепенно уходило за горизонт, изрезанный горами. Наконец, огонек погас. Гурий стал на колени и начал рыть яму. Пальцами, локтями и обломком какого-то деревца, валявшегося неподалеку, выгребал твердый песок. Потом залез в яму и уже оттуда выталкивал песок. Глаза его были засыпаны и почти ничего не видели.

Когда яма была достаточно глубокой, он выкарабкался наверх. Хотел было опустить тело Мариам в яму, но какая-то сила удерживала его. Он боялся притронуться к телу. Боялся, что оно рассыплется от одного его прикосновения. От отчаяния, не зная, как быть, упал на песок и завыл.

Не помнил, сколько прошло времени, вдруг почудилось – над головой что-то звякнуло. Легонько так, как звякает цепочка. И странный запах проник в его ноздри. И чьи-то мужские голоса зазвучали над ним.

Он поднял голову. Над телом усопшей стояли два священника и монах. Дед Ионос, в голубых ризах и камилавке, окунал кисточку в елей и помазывал ею чело усопшей, ее виски и грудь. Монах Дамиан читал молитвы. Ветерок трепал черный шлейф его клобука. Авва Серапион, в длинной белой хламиде с капюшоном, размахивал кадильницей. Тоже сосредоточенно глядел на лежащую.

...Они пели над нею псалмы, то по отдельности, то хором. Стройно и величаво звучали их голоса под бескрайним закатным небом. «Упокой, Господи, душу усопшей рабы Тво-о-е-я...» – пели три голоса, и к ним присоединялись новые и новые, на всех языках...

Сквозь слезы, прозревшими глазами, Гурий видел, как складки и морщины на теле усопшей медленно разглаживаются, кожа светлеет, а вокруг ее головы возникает свечение. Оно было золотым, с зеленоватым оттенком. Свечение распространялось вокруг и, проникая всё и вся, восходило к небу...

* * *

Утром солнце взошло над пустыней. Возле одной горы виднелся невысокий, свеженасыпанный холмик. Никого там уже не было. Только ящерица сидела неподалеку, подкарауливая саранчу.

А Гурий приближался к какому-то арабскому поселку. Он то рычал и делал всем телом движения, изображая из себя льва, ставшего на задние лапы, то водил пальцами по воздуху, как бы рисуя что-то на незримом холсте.

* * *

Приблизительно через неделю после той панихиды Гурий вышел из аэропорта «Кеннеди» в Нью-Йорке, взял такси и поехал домой. (Свою оставленную сумку с вещами и портмоне он все-таки нашел – в Каирском отеле.)

После величественной безмолвной пустыни Нью-Йорк казался Гурию совершенно нереальным, мистическим городом: потоки машин, рекламы, небоскребы, грохот...

Впрочем, весь этот грохот не достигал слуха Гурия. В его ушах лишь переливчато звякала цепочка кадила, и звучали ангельские голоса: «Любовь все прощает, всему верит. Любовь никогда не перестает... Смерти нет, для Бога всё живу...» Это правда, правда!

Такси остановилось перед домом Гурия. Расплатившись с таксистом, он вытащил из багажника сумку и вошел в подъезд. Преодолея последний лестничный пролет и...

Мариам сидела на верхней ступеньке лестницы, прислонившись к стене. Спала. Спала забавно так – приоткрыв рот и свесив голову набок.